
ПУШКИН ПОСЛЕ ССЫЛКИ

Н. Л. БРОДСКИЙ

(1826 — 1828 гг.)

(ОКОНЧАНИЕ) *

23 марта 1826 г. в Петербурге был подписан так называемый Петербургский протокол, по которому Россия и Англия соглашались вопреки Австрии на совместные действия в греческом вопросе. Греция должна была получить внутреннюю автономию, ее зависимость от Турции ограничивалась только уплатой дани. На основании Аккерманской конвенции 25 сентября 1826 г. за Россией обеспечивалась полная свобода торговли и плавания на Черном море, Сербия получала права на внутреннее управление и земли, отнятые у нее Турцией.

По Лондонскому трактату 27 июня 1826 г. был заключен тройственный между Россией, Англией и Францией договор об умиротворении Греции. Несогласие Порты на предъявленные ей условия привело к тому, что соединенный флот вошел в гавань Наварин и в трехчасовом бою (в октябре 1827 г.) уничтожил весь турецкий флот. Эта победа вызвала более решительную политику на Востоке. Еще 16 июля 1826 г. началась персидская война, закончившаяся 10 февраля 1828 г. мирным Туркманчайским договором, по которому Персия уступала России ханства Эриванское и Нахичеванское, уплачивала 20 миллионов рублей, в результате чего Россия утвердила свое положение в Закавказье. На притеснения Порты (проливы были закрыты) и объявление ею священной войны России Николай манифестом 14 апреля 1828 г. объявил Турции войну, закончившуюся, несмотря на разные неудачи, бездарность командования, лишения армии, успешным Адрианопольским договором 2 сентября 1829 г., определившим основные отношения между Россией и Турцией (Россия получала свободу торговли на море и

* Начало см. в № 1 журнала „Литературная учеба“.

во всех турецких владениях, проливы были объявлены свободными для купеческих судов всех держав и проч.), — императорская Россия достигла в восточном вопросе значительного успеха. Для оценки позиции Пушкина, занятой им в вопросе о внешней политике, проводимой вооруженной рукой монарха, необходимо учесть мнение о том же вопросе М. С. Лунина, одного из самых непримиримых врагов абсолютизма Николая I. В своей брошюре «Общественное движение в России» (1840 г.) ссыльный декабрист писал: «Внешняя политика составляет единственно светлую точку, успокаивающую разум, усталый от обнаруженных во мраке злоупотреблений и ошибок. Договоры Лондонский, Туркманчайский и Адрианопольский доказывают осторожность и умеренность... Этой системе, принятой императором во внешних делах, и настойчивости его характера Россия обязана своей новой позицией по отношению к европейским державам»¹. Какие надежды, оживившие Россию, имел в виду Пушкин? В начале царствования был отставлен Аракчеев, были удалены с своих постов известные изуверы Рунич и Магницкий, потерял свое значение Фотий.

Рождались надежды и по другим поводам: напр. в связи с манифестом 13 июля 1826 г.; 6 декабря 1826 г. был учрежден особый секретный комитет для обозрения всех частей управления и выработки мер «для лучшего их устройства и исправления»; рост крестьянских волнений вынудил крепостника-монарха обратиться двумя рескриптами на имя Мин. внут. дел (19 июля и 6 сентября 1826 г.), коими предписывалось дворянству «христианское и сообразное с законами обращение с крестьянами».

Историческая действительность развеяла эти иллюзии, «надежды» на просвещенную монархию, но они существовали в образованном дворянстве; Пушкин отдал им дань в эти годы вместе с другими своими современниками².

¹ Ср. в показаниях Пестеля его внешнеполитическую программу в греческом и турецком вопросах: «Вы сказали, — спрашивал декабриста Следственный комитет, — что можно будет обратить общее внимание на какую-нибудь внешнюю меру, как то: объявить войну туркам и восстановить восточную республику в пользу греков, и таким образом на поприще политическом явнмся с самыми благонадежнейшими видами для прочих народов Европы». Пестель отвечал: «Сие предположение справедливо».

² Отчет фон-Фока о настроениях среднего класса в 1827 г. заканчивался любопытным признанием: «Отличительной чертой нашего века является его активность. Пружины правительственного механизма в большинстве случаев действовали плохо, ход дел пришел в расстройство; первые места были заняты людьми, неспособными или нерадивыми, хищения и взяточничество не прекращались. Вот что породило то неудовольствие, то болезненное настроение умов, которое так

К числу трудов, ожививших Россию, Пушкин, вероятно, относил «Комитет образования флота» (в декабре 1825 г.), «Комитет устройства учебных заведений» (19 мая 1826 г.), учреждение в 1827 г. корпуса корабельных инженеров, корпуса флотских штурманов, указ 31 января 1826 г. о возложении на 2-е Отделение соб. его велич. канцелярии под председательством М. М. Сперанского составления свода законов. Фон-Фок отметил положительные настроения в среднем классе по адресу Николая I: «Явное желание государя улучшить дело воспитания, возрождение флота, воскресившее столько славных воспоминаний, убеждение в том, что государь-император серьезно трудится над улучшением столь несовершенного в России законодательства». Нелишне вспомнить, что декабрист Штейнгель 11 января 1826 г. рекомендовал Николаю I «воскресить флот, поощрить к мореплаванию честных людей, к чему призывают Гаити и Америка».

Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

Пушкин находился под тем, по выражению Вяземского, «колдовством», которое было присуще многим, не успевшим разобраться в двулличии Николая I, который стремился смягчить недовольство его карами в некоторых слоях тогдашнего общества такими мерами, как выдача ежегодной пенсии в 3000 руб. жене казненного Рылеева.

Текла в изгнаньи жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Подал — и с вами снова я!
Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою?

В этих строках он отметил то, во что поверил 8 сентября в кремлевской беседе с царем и о чем напоминал царю, уже лично разуверившись в правде царского обещания, на практике убедившись в оковах, которые «царственная рука»

жагубно проявилось за эти последние два года. Деятельность государя-императора влила новую жизнь в умы и сердца. Большинство суждений ему благоприятно, но вся Россия ждет с нетерпением перемен как в системе, так и в людях. Требуется вновь завести машину. Ключами для этого являются: правосудие и промышленность. Самые благонамеренные люди изнывают в ожидании и не перестают повторять: «если этот государь не преобразует России, никто не оставит ее падения...» («Красный архив», т. XXXVII, стр. 153).

накладывала на его творчество¹. Ложное представление в обществе о подлинных отношениях между ним и властью приводило к гневным обличениям в следующих строфах, где поэт выступал с страстной проповедью дорогих ему общественных идеалов, враждебных царю и его окружению:

Я льстец? Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Не случайно А. Н. Вульф нашел у Пушкина осенью 1827 г. сочинения Монтескье. «Дух законов» давал обильный материал для размышлений о природе монархической власти и, следовательно, для оценки монархии Николая I.

Пушкин оставался в этой строфе в рамках признания неограниченной монархии Николая I, но царь услышал от поэта урок государствоведения, и заодно заклеяны были суровые законники — члены Верховного суда. Они не простили поэту его гневного упрека по их адресу и в том же году, как мы видели, отдали непокорного друга декабристов под надзор полиции за стихотворение, ходившее под заглавием «На 14 декабря».

Он скажет: презирай народ.
Гнети природы голос нежный!
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный!

«Льстецы», новая бюрократическая знать, были чужды автору «Бориса Годунова», творцу народной трагедии, поэту, в истории и современности черпавшему живую любовь к народу, творившему на языке народа, вводящему элементы народного творчества в свою поэзию, пропагандисту фольклора. «Не презирай народа», — предостерегающе для царя звучал голос поэта. «Мнение народное» — могучая сила, которая не раз заставляла трепетать русских монархов и сметала их, как Бориса. В этой строфе Пушкин неприкрыто писал пером Курбского, выступал обличителем царя и его помощников. Льстец призывал гнети природу. Этот термин — природа — уводил читателя пушкинской поры к французским просветителям XVIII в. В ранних стихах поэта мы уже встречались с этим терми-

¹ В начале 1828 г. Пушкин, по словам В. П. Титова, хотел «приготовить смешную статью о Корсаре и способе переделывать поэмы в романтическую трагедию». Неосуществленный замысел поэта был направлен против Николая I с его предложением переделать трагедию «Борис Годунов» в исторический роман.

ном, обозначавшим совокупность естественных прав человеческой личности, нашедшим у Радищева в оде «Вольность» революционное звучание:

Се право мщенное природы
На плаху возвело царя...

и примененным у Пушкина в стихотворении 1823 г. с тем же оттенком: «ищите прав природы». Ср. также:

Простой воспитанник природы,
Так я бывало воспевал
Мечту прекрасную свободы
И ею сладостно дышал¹.

Указание поэта на тех, кто считал, что просвещение несет с собою «разврат» и «некий дух мятежный», задевало непосредственно царя, Бенкендорфа, фон-Фока. Мы слышали ответ первых двух лиц автору «Записки о народном воспитании», мы слышали, какой смысл вкладывал в этот термин помощник шефа жандармов, в 1827 г., между прочим, доносивший: «Нелепое мнение, что государь-император не любит просвещения, было общим между литераторами». Николай I вынужден был силою вещей не препятствовать развитию технического образования в России. Но ведь, термин просвещение был значительно шире темы о школьном образовании; он нес с собой целостное мировоззрение, разрушительное для феодально-крепостнического союза престола и алтаря. В слове просвещение, употребленном в пушкинском стихотворении, царь опять слышал декабристскую фразеологию; еще недавно Рылеев обращался в «Видении» (1823 г.) к будущему монарху:

Будь просвещения покровитель:
Оно надежный друг властей.

Каховский 19 марта 1826 г. писал царю: «Дайте права, водворите правосудие, покровительствуйте истинное просвещение — и вы соделаетесь другом и благотворителем народа доброго. Кто может подумать, чтобы народ наш не был одарен всеми способностями, принадлежащими и прочим нациям?»

Когда в 1832 г. в журнале «Европеец» появилась статья И. В. Киреевского «XIX век» с горячей защитой просвещения, то Бенкендорф писал в начале февраля министру на-

¹ Ср. в «Капитанской дочке» — Марья Ивановна Миронова говорит Екатерине II: «я приехала просить милости, а не правосудия». См. тот же смысл этого термина в вышеуказанной книге 1795 г. («Плоды свободного времени») и в стихотворении Вяземского «Негодование».

родного просвещения Ливену: «Его величество изволили заметить, что вся сия статья есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить некоторое внимание, чтобы видеть, что под словом просвещение он понимает свободу, что деятельность разума означает у него революцию».

Вся предпоследняя строфа в глазах Николая I была рассуждением (Пушкина) о высшей политике. Поэт и не скрывал своего намерения, он кончал свое стихотворение грозным предостережением самодержцу, если тот не примет к руководству параграфов из курса государствоведения, которые были ему только что преподаны:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

Друг свободы, враг самовластья и придворной камарильи, независимый поэт обличал и поучал власть имущих и обращался к друзьям с напоминанием, что «он» «гимны прежние поет», что враги общего дела оклеветали «небом избранного певца»; что если он иногда молчит, то по вине рабов, холопьев добровольных и льстецов, гасителей просвещения, ненавистников народа и свободы. Царь, получив стихотворение в конце февраля 1828 г., положил резолюцию: «Распространять можно, но печатать нельзя». 5 марта Пушкин получил от Бенкендорфа отзыв царя в следующей редакции: «Его величество совершенно доволен (стихотворением «Друзьям»), но не желает, чтобы оно было напечатано». При жизни Пушкина стихотворение в печати не появлялось. Русский самодержец не разрешил печатать стихотворения по ряду мотивов: даже ему стало не по себе, когда он читал, как поэт хотел довести до сведения общества, что царь «освободил его мысль», «почтил в нем вдохновенье». Окруживший Пушкина сетью шпионов, не разрешивший к печати его трагедии и записанных поэтом «Песен о Разине», как «по содержанию неприличных»: «сверх того, Церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева»; знавший, что близится к неприятной для Пушкина развязке дело о распространении «На 14 декабря», — Николай I должен был воспринимать эти строфы о себе, как обличение в нечестном поведении по отношению к поэту. Вся вторая половина стихотворения подлежала запрету с точки зрения власти потому, что в по-

следних строфах подвергалась критике политическая система самодержавия и пропагандировались идеи декабристов.

Еще не закончилось дело о распространении стихотворения «На 14 декабря», как началось новое дело против Пушкина, в котором против поэта выступили обе силы политического порядка — самодержавие и православие; власть светская и духовная. В конце мая 1828 г. дворовые отставного штабс-капитана В. Ф. Митькова донесли петербургскому митрополиту Серафиму, что господин их развращает их в понятиях православной, ими исповедуемой христианской веры, прочитывая им рукописное «развратное сочинение под заглавием Гавриилиада». Митрополит направил 29 мая прошение с приложением поэмы в соответствующие инстанции. «Нечестивая поэма» (в ней «безбожие») взволновала чиновный мир. По докладу главнокомандующего в Петербурге и Кронштадте графа П. А. Толстого Николай I предписал исследовать дело и привести в ясность. 4 июля по поручению Толстого военный генерал-губернатор П. Голенищев-Кутузов допрашивал Митькова и его дворовых людей у митрополита.

Была назначена специальная комиссия из гр. П. Толстого, гр. Б. Кочубея и кн. А. Н. Голицына. 25 июля она постановила допросить Пушкина через П. Голенищева-Кутузова, им ли была написана «Гавриилиада», в каком году, имеет ли он у себя оную поэму? Вместе с тем было поручено взять с Пушкина подписку в обязательстве «впредь подобных богохульных сочинений не писать под опасением строгого наказания».

В начале августа Пушкин был допрошен. На вопрос (как характеризует его официальный документ) он «решительно отвечал, что сия поэма написана не им, что он в первый раз видел ее в лицее в 1815 или 1816 г. и переписал ее, но не помнит, куда девал сей список и что с того времени он не видал ее». Царь 12 августа приказал Толстому вновь допросить поэта: «от кого получил он в 1815 или 1816 году, находясь в Лицее, упомянутую поэму, изъяснив, что открытие автора уничтожит всякое сомнение по поводу обращающихся экземпляров сего сочинения под именем Пушкина». 19 августа 1828 г. Пушкин показал главнокомандующему: «Рукопись ходила между офицерами гусарского полка, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомяну. Мой же список сжег я, вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже в тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религией. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение жалкое и постыдное».

Поэт чувствовал, что власть решила добаться в этом деле до конца. Царь только что скрепил меморию Государственного совета об отдаче его под надзор полиции. Главкомандующий уже на основании данного постановления, независимо от существа возникшего дела, разговаривал с Пушкиным как с поднадзорным, как с человеком, опасным для государственного порядка. Тяжкое «предчувствие» «неизбежного, грозного часа» овладело им:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду...

Пушкин отрекся от своей поэмы. Власть пыталась проникнуть в такие проявления его умственной жизни, которые он в это время переживал сложно и мучительно. Она касалась его мировоззрения в тех элементах, которые он не считал необходимым раскрывать перед мундирным синклитом. В 1823 г. Ф. Вигель называл Пушкина «безбожником». Следовательно, и тогда уже «холодный скептицизм французской философии» (по его позднему выражению) выбросил из его мышления, как малосостоятельное представление, вольтеровского бога, необходимого, по убеждению просветителя, для обуздания народных масс. Не могли удовлетворить его и те телеологические представления, которые он находил у Гердера, Канта, Шеллинга (о философии последнего он знал главным образом из бесед с П. Я. Чаадаевым, лично знакомым с немецким философом)¹. Скептик склада Монтеня, любимого им французского мыслителя XVI века, Пушкин равнодушно относился к абсолютному началу как в византийском или римском священном одеянии, так и в абстрактной форме германских идеалистов.

Автор «Гавриилиады», по стилю примыкавшей к антицерковным поэмам Парни, стоял на почве антицерковной сюжетики крестьянского фольклора. Однако, разделяя вместе с «простым народом» отношение к «сельским иереям» (см. «Городок», 1815 г.), Пушкин, оставаясь в рамках историче-

¹ В 1828 г. М. П. Погодин записал в дневнике: «Мысль завести переписку с Чаадаевым, о знакомстве которого с Шеллингом рассказывал Пушкин».

ской действительности, признавал в то же время, что «греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер». Чувство историзма подсказывало Пушкину отрицательное отношение к вольтеровскому взгляду на религию, как на обман, выдумку жрецов. Он не сбрасывал со счетов то, наличие чего видел в истории, в живой народной жизни. Он отмечал, как «в день троицын народ, зевая, слушает молебен», но образом Пимена говорил, что он понимает религиозное начало не только как художник исторического прошлого, но и как наблюдатель современного явления. Богословская система не нужна была тому, кто воспитал свою мысль на философском материализме XVIII века. Но поэт жил в то время, когда самые глубокие умы Европы продолжали биться в поисках религиозной концепции; философия Гегеля, современника Пушкина, тому доказательство. В беседе Пушкина с Мицкевичем М. П. Погодин запомнил афоризм: «Предрассудок холоден, а вера горяча». Философские идеи о вечности и бесконечности Пушкин выражал на языке искусства в духе «Системы природы» Гольбаха (см. XXXVIII строфу II главы «Онегина»), черпая из идейного фонда французского материалиста обоснование органически близкого ему утверждения жизни, ее сущности, сознание, что мыслящий человек, подчиненный «естественному закону», невзирая на гибель многого и самую смерть, имеет возможность «думать, радоваться, страдать» (так по Гольбаху, — ср. у Пушкина: «я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»). Оставаясь под знаменем французского сенсуализма и материализма, поэт в последекабрьском периоде попал в атмосферу философско-идеалистических дискуссий в кружке московских «любомудров», религиозной метафизики Чаадаева. Вопросы, некогда решенные, снова всплыли перед ним; политические гонения, трагедийное ощущение своего одиночества, как художника-новатора, вызвали душевную тревогу; внутренняя смута разрешилась постановкой тем

О тайнах вечности и гроба.

26 мая 1828 г. Пушкин написал стихотворение, полное сомнений, тревожных раздумий о жизни, свидетельствующее о напряженной работе мысли, не нашедшей исхода из противоречий:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
 Из ничтожества воззвал?
 Душу мне наполнил страстью,
 Ум сомнением взволновал?..
 Цели нет передо мною,
 Сердце пусто, празден ум,
 И томит меня тоскою
 Однозвучный жизни шум.

Стихотворение ничем не выдает присутствия канонической телеологии, что заставило митрополита Филарета вскоре написать Пушкину возражение.

Поэт ставит перед собою вопросы об отношении к бытию, о разуме и чувствах человека в их обособленности и как будто не находит примирения между ними, остановившись на распутьи однообразной, без красок, без ярких пестрых пятен, лишенной смысла жизни. То был лишь временный момент в мировоззрении поэта, остановка перед движением, пересмотр взглядов для углубления и расширения ранее накопленного.

В VII главе «Онегина», которая писалась в течение 1827—1828 гг., Пушкин назвал потусторонний мир «вечностью глухой»; «мир закрыт и нем» для Ленского «бесчувствием блаженного»:

Так! равнодушное забвеньё
 За гробом ожидает нас.

«Вечности глухой» поэт противопоставляет «веселую природу», конкретный мир: «осень золотая», «волшебница зима» («и рады мы проказам матушки-зимы»),

Улыбкой ясной природа
 Сквозь сон встречает утро года;
 Синяя, блещут небеса..

«Бесчувствию» ушедшего из жизни поэт противопоставляет богатый мир человеческих чувств, эмоций:

Как грустно мне твое явленье,
 Весна, весна! Пора любви!
 Какое томное волненье
 В моей душе, в моей крови!
 С каким тяжелым умиленьем
 Я наслаждаюсь дуновеньем
 В лицо мне веющей весны,
 На лоне сельской тишины!

Мир действительный, объективный, человек и его «человеческое» возвращали Пушкина от метафизических проблем на землю, реальность жизни давала опору для борьбы

с ядом сомнений. Разум — деятельный ум, светлый, свободный ум — выводил Пушкина из тупиков, в которые попадала его мысль в моменты кризиса. В признании за реальной человеческой личностью, живущей в деятельном общении с людьми, он утверждал свою веру в себя, в «человека — меру разума». Пушкинское мировоззрение прочно покоилось на идейной базе просветителей-материалистов. Его путь в известных чертах совпадал с той эволюцией, которая в те же годы совершалась в его младшем современнике, Людвиге Фейербахе (род. в 1804 г.). То, что выражал в философских терминах автор «Фрагментов к характеристике моей философской биографии», Пушкин говорил на языке образов. Как раз к 1827—1828 годам относятся «Сомнения» Фейербаха, его диссертация «Об едином универсальном бесконечном разуме» (1828 г.). То, что немного позже (в 1830 г.) писал немецкий мыслитель, было близко русскому поэту: «Теперь дело идет в первую очередь о том, чтобы устранить старый раскол между потусторонним и посюсторонним для того, чтобы человечество сосредоточилось в сей душой и всем сердцем на самом себе, на своем мире и на своем настоящем, ибо только это усиленное сосредоточение на действительном мире произведет новую жизнь, произведет снова великих людей, великие убеждения и дела. Только для жалкого человека мир жалок, только для пустого он пуст. Сердце — по крайней мере, здоровое сердце — находит уже здесь свое полное удовлетворение».

Пушкин не читал этого рассуждения, но ему, как художнику, стремившемуся отражать истину жизни, опиравшемуся на разум, питаемому кровью человека, фейербахианская аргументация, если бы он встретил ее в книге, показалась бы переводом его собственного поэтического дела на язык научной прозы. Призыв Фейербаха: «созерцайте природу, созерцайте человека! здесь вы имеете тайны философии перед глазами» — был бы внятен поэту, не вызывал бы возражений, как та шеллигианская мистика, которую развивали перед ним на собраниях «Московского вестника». Пушкин и как мыслитель шел «с веком наравне», с теми тенденциями, которым предстояло развитие.

Когда официальные органы стали насаждать на Пушкина по поводу его «Гавриилиады», он испытал боль как от прикосновения каленого железа к живому телу: его мысли были тревожны, ум был взволнован, ему напомнили о том произведении, которое относилось к отжитому, к пройденному этапу. «Гавриилиада» и «Кинжал» своим вызывающим тоном стояли в одном ряду, этот тон юношеской дерзости и кощунства не сопутствовал более поэту; от него требовали

признаний в том, что он хотел бы забыть, требовали назойливо, забираясь в тайники души. Он рассчитывал отречением от поэмы отделаться от судей. Николай I требовал точного ответа, вероятно с помощью агентуры в роде Булгарина и др. получив заверения в принадлежности поэмы не кому иному, как только Пушкину. Ознакомившись с показанием поэта от 19 августа, царь после доклада Бенкендорфа 28 августа приказал: «Г. Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему, моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю: но желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем». 2 октября поэт был вытребован к допросу в третий раз. Главнокомандующий гр. Толстой требовал от него, чтоб он «не отговаривался от объявления истины». Царь обращался к чести поэта, в то же время предлагая ему роль помощника в розыске преступника. Государственный аппарат налегал всей тяжестью на поэта, — в таком положении он еще никогда не находился. В жизни Пушкина этот день — 2 октября 1828 года — был днем сознания вынужденной беспомощности перед властью и беспредельной нехватки к гонителям. Никогда тема тирании и человека-раба не стояла перед ним в такой чистой форме, никогда его гордая независимость не подвергалась такому тяжкому испытанию, как в этот час допроса.

1 сентября поэт писал Вяземскому: «Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее:

Прямо, прямо на восток».

Ехать в ссылку из-за «Гавриилиады» значило обречь себя наказанию за юношескую «шалость». Сознаться в своем авторстве после отречения значило дать повод усумниться в его честном слове. «По довольном молчании и размышлении», — как гласит протокол Комиссии, — Пушкин спросил: «позволено ли будет ему написать прямо государю?» Получив удовлетворительный ответ, он тут же написал письмо царю и, запечатав, вручил его графу Толстому. Комиссия, не раскрывая письма, представила пакет Николаю. Ни содержание письма Пушкина, ни ответ царя неизвестны. 31 декабря 1828 г. царь положил резолюцию: «мне это дело подробно известно и совершенно кончено». Пушкин признался в своем авторстве. Николай торжествовал свою победу. Но поэт ответил ему стихотворением, в котором личный, только что пережитый опыт был переплавлен в обобщение такой колоссальной силы, в котором в лицо всех тиранов всех веков и всех народов человеческий гений в лице Пушкина бросил такой ненавистью, в котором в защиту полноценной

человеческой личности, не могущей ни при каких условиях примириться с кастовым, иерархическим государством, прозвучал такой могучий гимн, что Николай должен был признать, что поставить на колени Пушкина ему не удалось, что над свободной мыслью поэта владыка из Зимнего дворца бессилен.

Стихотворение «Анчар» кончено 9 ноября 1828 г. Поэт приступил к работе над ним в начале сентября. Шлифовал его с тем пристальным вниманием, какого заслуживала значительная содержательность темы: «дерево смерти», символ тирании, конкретный носитель которой — «непобедимый владыка» — был причиной смерти «бедного раба». Легендарное описание ядовитого дерева, основанное на европейском книжном материале, таило в себе глубочайшую жизненную правду с многообразными применениями.

Поэт выбросил автобиографическую черту, первоначально внесенную в рукопись при определении родины Анчара:

Природа Африки моей
Его в день гнева породила...

Конкретность описания сохранилась в завершенном тексте:

Природа жажущих степей... —

но изъятие этнографической детали соответствовало общему символично-иносказательному замыслу произведения.

Вначале поэт намеревался развернуть тему о судьбе и человеке, повелителе роковой стихии.

Но человека — человек
В пустыню — посылает.

Второй стих имел несколько вариантов:

Послал (к пустыни (ому) (к Анчару))...

Послал к Анчару (ко древу) властным словом...

Послал к Анчару (самовластно) равнодушно...

Неопределенная ситуация — человека человек посылает — стала заменяться конкретным образом «владыки» и образом ему подвластного раба:

Но человека человек
Послал к Анчару самовластно.

В следующем стихе «самовластный» герой начинал проявлять себя:

Ступай, мне нужен яд, он рек.

Но этот стих был отброшен, как не обогащавший темы после нескольких предшествовавших строф с обильными деталями о «древе смерти», пропитанном ядом в корнях, в коре, в ветвях. Включая образ раба, варьируемый в третьем и в четвертом стихах:

И смелый — в путь потек...
 И тот безумно в путь потек...
 И тот за ядом в путь потек...
 И тот послушно в путь потек...
 И тот поутру в путь потек...
 И возвратился с ядом...
 И возвратился безопасно...
 И возвратился с ним послушно...
 И возвратился на ночь с ядом...

Эта тема о безопасном возвращении раба исключительно уводила к образу непобедимого владыки, к властелину над миром, даже над деревом смерти. Но весь комплекс пережитого и передуманного автором в связи с личным опытом, с его воспоминаниями об историческом прошлом и наблюдениями над настоящим, с недавними ощущениями петербургского «духа неволи»¹, толкал мысль поэта отбросить этот вариант и повернуть идею стихотворения в иное русло: судьба поработанного человека, вынужденного идти даже за смертью по властному приказу владыки, царя, князя². Эта тема круто изменила композицию стихотворения, соотношение образов, подбор и окраску деталей. Строфа получила законченный вид:

Но человека человек
 Послал к Анчару властным взглядом, —
 И тот послушно в путь потек
 И к утру возвратился с ядом.

В последующих строфах тема власти человека над человеком, владыки над рабом, была развернута с предельной четкостью, со всей художественной выразительностью в эпитетах, в синтаксической конструкции (функции союза *И*, повторение глагола), придавшей вместе с церковно-славянизмами поэтической речи замедленно-мерный, торжественный и глубоко эмоциональный характер:

¹ «Город пышный, город бедный» (1828 г.).

² В «Северных цветах на 1832 год» и в отдельной брошюре того же года было напечатано:

А царь тем ядом напитал.

В издании «Стихотворений Александра Пушкина», ч. III, 1832 г., стояло:

А князь тем ядом напитал.

Принес он смертную смолу,
 Да ветвь с увядшими листьями, —
 И пот по бледному челу
 Струился холодными ручьями.
 Принес — и ослабел и лег
 Под сводом шалаша, на лыки,
 И умер бедный раб у ног
 Непобедимого владыки.

Трагический колорит окончательно оформившейся идеи стихотворения потребовал перестройки ряда деталей: в первой строфе

Анчар, как бодрый часовой

заменяется стихом:

Анчар, как грозный часовой.

Во второй строфе поэт не скоро нашел «точность и верность выражения»: если в первом стихе эпитет *пламенных степеней* сразу был заменен окончательным: *жаждущих*, то последний вариант:

И зелень мертвую ветвей

возник после упорных поисков:

И жилы тощие корней...
 И жилы сонные ветвей...
 И жилы мощные ветвей...

Последняя строфа:

А князь тем ядом напитал
 Свои послушливые стрелы,
 И с ними гибель разослал
 К соседям в чуждые пределы... —

первоначально была выражена иначе:

А царь тем ядом напитал
 Свои догадливые стрелы
 И смерть пернатую пустил
 К соседу, в чуждые пределы.

Заменой слова *соседу* формой множественного числа образ князя (царя) расширился: тема столкновения двух враждующих владык превратилась в страшный символ насилий над миром, над человечеством: *царю* подвластно все: и человек, и вещи; поэтому эпитет, вскрывавший какую-то степень самостоятельности: «догадливые» (стрелы), — заменился другим в соответствии с основной идеей «Анчара»: «послушливые» (стрелы); пышная метафоричность стиля была вообще чужда художественной манере Пушкина, —

поэтому стих «и смерть пернатую пустил», появившийся в первоначальном ряду восточных образов стихотворения, при реконструкции целого должен был исчезнуть. Из мастерской поэта вышло одно из его совершеннейших созданий, стихотворение, перешагнувшее через грани его эпохи, философско-политическая идея которого направлена не только против абсолютистско-крепостнической монархии Николая I, но и против всякого общественного строя, где есть цари и подданные, владыки и рабы, где люди делятся по рангу «сильных» и «слабых», белой и черной кости.

Подобно многим другим произведениям, «Анчар» долго не выходил в свет: лишь через три слишком года это стихотворение появилось в печати. Бенкендорф незамедлительно обратил на него внимание. 7 февраля 1832 г. он запросил Пушкина, почему *Анчар древо яда* (и др. сочинения) помещен был в «Северных цветах» «без предварительного испрошения на напечатание оных высочайшего дозволения». В тот же день Пушкин ответил ему, ставя шефа жандармов перед совершившимся фактом, как перед явлением, против которого нет резонов возражать и которое должно иметь повторение: «Я всегда твердо был уверен, что высочайшая милость, коей неожиданно был я удостоен, не лишает меня и права, данного государем всем его подданным, печатать с дозволения цензуры». Указав далее, что с его ведома и без его ведома в течение последних шести лет его стихотворения печатались беспрепятственно во всех журналах и альманахах и что «никогда не было о том ни малейшего замечания ни ему, ни цензуре», поэт защищал постепенно завоеванное им право находиться под общей цензурой и не чувствовать себя во власти господина с его случайной милостью. Бенкендорф не удовлетворился разъяснением Пушкина и потребовал его к себе для дополнительной беседы. 10 февраля шеф жандармов, видимо, настроенный кем-то, обратил внимание поэта на возможность недопустимых политических применений «Анчара». 24 февраля Пушкин хотел отправить, но раздумал, разъяснение, что цензура Бенкендорфа, предубежденного против него, «будет находить везде тайные применения, allusions и затруднительности, — а обвинения в применениях и подражаниях не имеют ни границ ни оправданий, если под словом *древобудут* разумеют Конституцию, а под словом *стрела* (зачеркнуто: свободу) самодержавие». Доведя до абсурда манеру шефа жандармов вычитывать у авторов в стихах и в прозе антиправительственную агитацию, Пушкин убедился, что *стрела*, им пущенная в «Анчаре», попала в цель... «Анчаром» он ответил политическому режиму, его притеснявшему. В том же 1828 году, когда это стихотворе-

ние было написано, поэт разделался с тем «большим светом», с теми литературными староверами, которые обращались к нему с заказами на интересовавшую их тематику, которые требовали от его художественного творчества «высокого штиля», «картин семейного счастья»¹, «пользы», «высокого и прекрасного» с елеем и патокой старозаветной морали, оправдывавшей бытовую мерзость, ханжество и рабство. Стихотворение «Чернь» (или «Поэт и толпа») было ответом поэта светской, придворной, барской толпе, ответом — защитой его права на свободу от «эстетики» тупиц и невежд, защищавших одновременно с «высоким и прекрасным» свои командные высоты и корыстные блага крепостнической жизни. Когда однажды светская, «знатная чернь» в салоне З. Волконской пристала к Пушкину, «заезжому фигляру», чтоб он что-нибудь прочитал, он в раздражении прочел «Чернь» — и, кончив, с сердцем сказал: «В другой раз не станут просить». В этом стихотворении Пушкин имел в виду определенную общественную среду, не просто обществу он противопоставлял поэта, он обращался к «знатной черни», тому слою, о котором так выразительно сказал Лермонтов: «свободы, гения и славы палачи». Термины чернь и народ наполнялись у поэта различным содержанием. В данном произведении «чернь тупая», не различаемая от «хладного и надменного народа», эта «презренная чернь», «холодная толпа», которая в оценке поэта была связана с двором, господствовала в политической жизни страны, имела своих литературных апологетов, боролась официально и негласно со всем новым, свежим, прогрессивным на культурном фронте. Все признаки, какими наделена была эта чернь:

Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны,
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы,
Гнездятся клубом в нас пороки... —

обычно прилагались Пушкиным к дворянско-придворному миру, к «большому свету». В стихах до ссылки и в позднейшей лирике, в поэмах, в «Онегине» постоянно встречаются обличительные стихи, направленные против «украшенных глупцов», «вельможи злого», «злодея иль глупца

¹ 18 апреля 1828 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу по поводу встречи у него Пушкина с Б. М. Федоровым, нападавшим на автора 4-й и 5-й глав «Евгения Онегина» с требованием от него «нравственности»: «Пушкин насмешил меня с ним: «Отчего не описываете Вы картин семейного счастья?» и т. п. говорил ему нравоучитель, а тот отвечал ему по-своему».

в величин неправом», против «лукавых, малодушных, холопов добровольных», «злых без ума»; в гостинной «они клеветуют даже скучно»; «вялые, бездушные собрания»,

Где холодом сердца поражены,
Где глупостью единой все равны.

Юноше Пушкину Петербург казался «мертвой областью рабов»; при Николае в той же столице — «дух неволи», «скука, холод»; к престолу приближены «раб и льстец»; «хладный разврат света» и «порочный двор царей», «жестокосердая суета», «я жертва клеветы и мстительных невежд», — таков «омут» большого света в зарисовках поэта за разные годы. В черновиках еще наглядней проступало намерение Пушкина бичевать именно «знатную чернь»:

Свирепые рабы...
Рабы, грабители, глупцы...
Рабы, тираны, подлецы¹...

«Бессмысленный народ» (см. «Герой», «С Гомером долго ты беседовал один») — «поденщик, раб нужды, забот».

Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры.

Пушкин обнажал хищные аппетиты мелких душонок «знатной черни». Мы давно слышали от него, что собственники «каменных палат» — «торгуют волею своей, просят денег да цепей» («Цыгане»); что орудием духовной власти служили «меч и кнут»; поэту приходится возвращаться в «большом свете», «среди досадной пустоты расчетов». Из этого «омута» к нему поступал заказ:

Сердца собратьев исправляй...
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки!

«Надменный народ» требовал от поэта «пользы»:

Чему нас учит?
Как ветер песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна,
Какая польза нам от ней?

«Ропот дерзкий» в автографе «Черни» имел варианты:

Пороки наши исправляй...
Так расточай же нам любя
Сладкоречивые уроки.

¹ Б. Мейлах. Пушкин и теория «чистого искусства». «Литературный Современник» 1936, № 5, стр. 176.

Пушкину-реалисту враждебны были эти голоса, которые он слышал в современной ему литературной критике не только среди эпигонов официального классицизма, защищавших художественные запросы феодально-крепостнического барства. В его заметках на полях статьи П. А. Вяземского «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» находим принципиальное расхождение поэта с его другом по вопросу о дидактических, морализирующих тенденциях искусства. Против слов Вяземского: «но трагик не есть уголовный судья» — Пушкин написал: «Прекрасно». Но против следующего абзаца: «обязанность его и всякого писателя есть согреть любовно к добродетели и воспалить ненавистью к пороку» — он решительно возражал: «Ничуть. Поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совсем иное дело. Господи Иисусе! Какое дело поэту до добродетели и порока? Разве их одна поэтическая сторона?» Против эстетики «нравоучителей», против превращения реалистической поэзии в иллюстрации прописной морали, против того искусства, в котором

Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок... —

Пушкин воинствующе выступал в стихотворении «Чернь»¹. Он и впоследствии ратовал против «мелочной и ложной теории, утвержденной старинными риториками, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности», утверждая (в 1836 г.), что «цель художества есть идеал, а не нравоучение». В другой заметке встречаем тот же взгляд: «Между тем как эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью... мы все еще повторяем, что главное достоинство искусства есть польза... И какая польза в тичиановской Венере и Аполлоне Бельведерском?»

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!..

Пушкин защищал свободу своего творчества от эстетических канонов «мелочной и ложной теории»². Его ответ

¹ Ср., напр., в предисловии Ф. Булгарина к роману «Мазепа»: «цель романа... по древнему правилу: поучая, забавлять» (1833 г.).

² «Нельзя требовать от всех писателей стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других... Закон не вмешивается в привычки частного человека, не требует отчета о его обеде, о его прогулках и тому подобное: закон также не вмешивается в предметы, избираемые писателем, не требует, чтоб он описывал нравы женеvского пастора, а не приключения разбойника или палача, выхваляя счастье супружеское,

«тупой черни», коим он утверждал свою поэтическую независимость и протестовал против ограничений, накладываемых на него двором, «большим светом» с их критическими Аристархами, его ответ не был чем-то неожиданным для внимательных читателей. Тема о разрыве поэта и толпы непросвещенной, гения и презренной черни давно была поставлена в творчестве Пушкина. В «Разговоре книгопродавца с поэтом» (26 сентября 1824 г.) он заявлял:

Блажен, кто про себя таил
 Души высокие созданья
 И от людей, как от могил,
 Не ждал за чувство воздаянья!
 Блажен, кто молча был поэт
 И терном славы не увитый,
 Презренной чернию забытый,
 Без имени покинул свет!

В вариантах автографа абстрактные люди были показаны вполне конкретно с их подлинным социальным лицом: лъстец, знатный глупец, гордый невежда.

Общественная обстановка, в какой находился Пушкин после ссылки, усиливала его чувство протеста против данной социальной группы, против враждебной ему литературной критики. Он вменял Баратынскому в заслугу, что тот «шел своей дорогой один и независим. Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды» (ср. о Катенине в 1833 г.) Декабрист-критик А. Бестужев в свою очередь особенно оценил «Разговор книгопродавца с поэтом», вышедший вместе с первой главой «Онегина», «особенно разговор с книгопродавцом вместо предисловия (счастливое подражание Гете) кипит благородными порывами человека, чувствующего себя человеком» («Полярная звезда на 1825 год», стр. 14). Стихотворение кончалось декларацией поэта, звучащей явным вызовом:

Во градах ваших с улиц шумных
 Сметают сор — полезный труд!
 Но, позабыв свое служенье,
 Алтарь и жертвоприношенье,
 Жрецы ль у вас метлу берут?
 Не для житейского волненья,
 Не для корысти, не для битв,
 Мы рождены для вдохновенья,
 Для звуков сладких и молитв.

а не смеялся над невзгодами брака. Требовать от всех произведений словесности изящества или нравственной цели было бы то же, что требовать от всякого гражданина беспорочного житья и образованности» (1836 г.).

Подлинный смысл первой части четко был раскрыт в одном из автографов «Черни»:

Довольно с вас — поэт ли будет
Возиться с вами сгоряча,
И лиру гордую забудет
Для гнусной розги палача!

Пушкин по традиции употреблял классическую образность: «поэт по лире вдохновенной рукой рассеянной бряцал», «алтарь и жертвоприношенье», «небес избранника», «божественного посланника», но этот поэт — «жрец» — связан с самыми земными интересами, он вовсе не «мирный» и высказывает теорию творчества, совершенно чуждую так называемому «чистому искусству».

Толпа сравнивает поэта с «своенравным чародеем», он «волнует, мучит» ее своими стихами.

«Поэзия бывает исключительною страстью немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни», — писал Пушкин в 1825 году. «Бессмысленный народ», оказывается, имел настолько смысла, чтоб понять и почувствовать, что бряцающий по лире поэт именно таков, каким представлял себе дело своей жизни сам автор «Черни». Толпа недоумевала, «к какой он цели нас ведет?» Пушкин всегда думал, что «поэзия по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели кроме самой себя».

«Не для житейского волненья».

Те поэты, которые «пишут для публики, угождая ее мнениям, применяясь к ее вкусам», могут иметь большой успех, но затем забываются, — не дело подлинного поэта, по мнению Пушкина, скользить по поверхности жизни, касаться случайного, хотя бы по каким-либо мотивам интересного толпе. Поэт творит «из бескорыстной любви к своему искусству». Журнальные статьи об оплате пушкинских стихов с подсчетами, во сколько рублей обошелся книгопродавцу каждый стих — в пять или в восемь рублей, толки о дороговизне книжечек «Евгения Онегина», разговоры вроде того, какой вел книгопродавец А. Ф. Смирдин о Пушкине: «Сочинение Цыгане — и продает ее как Цыган — за 2 листа 8 руб.», — все это раздражало поэта, вызвало отповедь: «не для корысти (мы рождены)». Ср. раннее признание:

Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы...
...в безмолвии трудов
Делиться не был я готов

С толпою пламенным восторгом,
И музы сладостных даров
Не унижал постыдным торгом.

Пушкин в 1824 г. писал Бестужеву: «Радуюсь, что Фонтан¹ шумит... Я писал его единственно для себя, а напечатал потому, что деньги были нужны», о том же Вяземскому: «Я пишу для себя, а печатаю для денег» (ср.:

Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать).

Еще в 1821 г. Пушкин писал:

Для Муз и дружбы жив поэт,
Его враги ему презренны.
Он Музу битвой площадной
Не унижает пред народом...

«Площадная литературная брань», — те журнальные драки, которые велись в это время между Воейковым и Полевым, Полевым и Булгариным и другими журналистами, вызывали в культурных слоях возмущение, и, конечно, Музе поэта не было места в этих «битвах с презренными бойцами».

Автор «Анчара», «Друзьям» в год написания «Черни» касался больших современных политических тем, выступал пламенным обличителем и пропагандистом, участвовал в смелых боях с идейными врагами. Его гражданская лирика была боевой, тенденциозной. Она была продиктована «искренностью в вдохновении, без которого нет истинной поэзии».

«Мы рождены для вдохновенья».

Пушкин неоднократно разъяснял смысл этого термина. «Вдохновение есть расположение души к живому принятию впечатлений, следственно к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии». Таким образом, вдохновение представлялось поэту сложным творческим процессом, слагавшимся из сознательного отбора явлений жизни, подлежащих поэтическому отражению, их организации по законам искусства и идейного осмысления общего и частных в их структурном взаимоотношении. Вдохновению предшествует особое состояние «беспокойства» и непременно труд с возможным «охлаждением» к нему. «Я знал и труд и вдохновенье», говорил поэт в 1821 г., обращаясь еще в лице к Дельвигу с признанием:

¹ «Бахчисарайский фонтан».

О милый друг, и мне богини песнопенья
 Ещё в младенческую грудь
 Влияли искру вдохновенья
 И тайный указали путь...
 Но где же вы, минуты упоенья,
 Незъяснимый сердца жар,
 Одушевленный труд и слезы вдохновенья?

Вдохновение нельзя смешивать с восторгом: «вдохновение может быть без восторга, а восторг без вдохновения... восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей частями в отношении к целому». Следовательно вдохновение, по теории Пушкина, есть результат длительной умственной работы и посещает поэта в состоянии его духовной собранности, «спокойствия». В 1835 г. он скажет Плетневу: «Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие». Вдохновение, обнимая различные моменты творческого труда, завершает и организует самые важные из них, перед тем как появиться явлению искусства.

Звуки сладкие в языке Пушкина могут быть применены и к поэтической теме, и к чисто внешней художественной форме: «Звуки новые для песен я обрел», — читаем мы в отброшенном стихе из «Памятника». Но ср. в стихотворении «Поэт» (1827 г.):

Бежит он, дикий и суровый,
 И звуков и смятенья полн.

Здесь под звуками подразумевается насыщенность поэта «бездной мыслей, чувств и картин». Тот же смысл в следующем отрывке (1824 г.):

Какой-то демон обладал
 Моими играми, досугом;
 За мной повсюду он летал,
 Мне звуки дивные шептал,
 И тяжким, пламенным недугом
 Была полна моя глава,
 В ней грезы чудные рождались;
 В размеры стройные стекались
 Мои послушные слова
 И звонкой рифмой замыкались.

См. также:

...Я поэт.
 В душе моей едины звуки
 Переливаются, живут,
 В размеры сладкие бегут.

Но так как Пушкин никогда не отделял формы от содержания и существо своей поэзии определял как союз

волшебный звуков, чувств и дум, то заявление поэта в «Черни»: «мы рождены для звуков сладких» — не дает никакого права рассматривать его как апологию «искусства для искусства», культ самодовлеющей формы и проч. Пушкин восхищался «неподражаемым талантом» Вольтера в противовес французским романтикам, у которых «мысль заменяется исковерканным выражением, ясный язык Вольтера — напыщенным языком Ронсара, живость его — несносным однообразием, а остроумие — площадным цинизмом или вялой меланхолией».

Пушкину враждебно было любованье чистой формой: «Малерб ныне забыт подобно Ронсару, сии два таланта, истощившие силы свои в болезни с усовершенствованием стиха... Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о механизме языка, нежели о мысли — истинной жизни его, не зависящей от употребления». Этот взгляд на мысль — истинную жизнь поэтического искусства — поясняет, что последнее заявление поэта о молитвах должно рассматриваться как утверждение им права говорить на любую тему, — плод истинного вдохновения, — не приспосабливаясь к минутным влечениям идейно чуждого ему «общественного круга: в момент «площадных битв» поэт отстаивал свое право на иную тематику.

Итак, стихотворение «Чернь», направленное против «знатной черни», тематически сходное с ранними и позднейшими произведениями Пушкина, со всей резкостью поставило тему о независимости поэта, о его нежелании следовать за вкусами господствовавшего лагеря, о его разрыве с канонами нравоучительной поэтики, дорогой сердцам враждебных ему читателей из «большого света» и их литературных наставников. В 1825 г. Пушкин применял к себе образ А. Шенье, «певца свободы»; в 1827 г. он перевел одно из стихотворений французского лирика, созвучное по настроению в тот период, когда политические условия вынуждали к молчанию «небом избранного певца»:

На море жизненном, где бури так жестоко
Преследуют во мгле мой парус одинокий,
Как он, без отзыва, утешно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.

Он знал, чем бы он мог завоевать покровительство двора, знати, «светской черни» и обслуживающих их деятелей искусства, критики, журналистики. Но с этим-то представлением о поэте Пушкин и боролся, отстаивая тип независимого писателя:

Блажен в златом кругу вельмож
Пиит, внимаемый царями:

Владея смехом и слезами,
Приправя с горькой правдой ложь,
Он вкус притупленный щекотит
И к славе спесь бояр охотит,
Он украшает их пиры
И сыплет Фебовы дары.

(1827 г.).

С 1828 года, а особенно в 1829—1830 гг., автору «Черни» пришлось убедиться, как далеко зашел его разрыв с литературно-общественными кругами, в каком одиночестве он остался среди различных общественных группировок, какой крик подымали журнальные зоилы по поводу чуть не каждого нового его произведения.

Столкновения с властью в общественной обстановке, исключавшей возможность действенного протеста, чувство нараставшей розни между ним и руководящей журналистикой вызывали в Пушкине приступы отчаяния, тоски, острого недовольства жизнью. Внутренняя тревога при всем жизнелюбии поэта прорывалась заметно для всех, кто встречался с ним в эти годы. Выставленный в 1827 г. в Академии художеств портрет Пушкина кисти О. А. Кипренского поражал всех сходством с оригиналом: «Вот поэт Пушкин. Не смотрите на подпись». По мнению А. В. Никитенко (в дневнике 2 сентября), «видев (поэта) хоть раз живого, вы тотчас признаете его пронизательные глаза и рот, которому не достаёт только беспрестанного вздрагивания». Эта внешняя черта указывала, как тяжело доставались поэту «опыты быстротекущей жизни», какие удары нанесены были его нервной системе. Скорбные минуты личной жизни, подвергаясь художественной переработке, превращались в раздумья общечеловеческого свойства: в стихотворении «Три ключа», написанном летом 1827 г., поэт «в степи мирской, печальной и безбрежной» отдаёт предпочтение «холодному ключу забвенья»:

Он слаще всех жар сердца утолит.

Белинский, находясь в начале 40-х годов в тревожных поисках выхода из философского «примирения» с «гноусной расейской действительностью», твердил беспрестанно последний стих.

Различного характера люди, встречая Пушкина, отмечали в нем внутреннее беспокойство, его тоску. Уезжая весной 1827 г. в Петербург, на вечеринке, устроенной в его честь Соболевским на даче около Петровского дворца, он был невеселым, рассеянным, говорил не улыбаясь. По воспоминанию близко его знавшего Н. В. Путяты, приятеля Е. Ба-

ратынского, Пушкин «среди всех светских развлечений порой бывал мрачен; в нем было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа, казалось, он чем-то томился, куда-то порывался». Объяснение этой тревоги Н. В. Путьята видел в политических тисках, в каких находился поэт: «По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая тяготили его и душили». 12 декабря 1828 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: (Пушкин) «...вовсе не переменялся, хотя, кажется, не так весел». Ср. в январском письме (1829 г.): «Он что-то во все время был не совсем по себе... я все не узнавал прежнего Пушкина». А. П. Керн в 1828 и в 1829 гг. находила его «часто мрачным, рассеянным и апатичным». Всем бросались в глаза в нем какая-то порывистость, внутреннее, затаенное страдание.

«Скверная проза моего теперешняго существования», — характеризовал Пушкин свою жизнь в январе 1828 г. В начале июня 1827 г. он писал Н. А. Осиповой: «пошлость и глупость обеих столиц наших равны, хотя и различны; и так как я имею претензию быть беспристрастным, то скажу, что если бы мне дали выбирать между тою и другой, то я выбрал бы Тригорское, — почти так, как Арлекин, который, на вопрос, что он предпочитает: быть колесованным или повешенным, отвечал: «я предпочитаю молочный суп». «В Петербурге тоска, тоска», — признавался он С. Д. Киселеву 15 ноября 1829 г. Поэт не знал, как убить эту тоску. Внешним отражением его тревоги была его скитальческая жизнь, «странствия без цели», непоседливость, стремление бежать куда глаза глядят. 6 июня 1827 г. Вяземский сообщал А. И. Тургеневу: «Александр Пушкин поехал в Петербург. Кажется, сам еще не знает, что из себя сделает». С 1827 года по 1830 год — годы скитаний в жизни поэта. Впервые после ссылки он выехал в Петербург из Москвы 19 мая 1827 г. В конце июля оттуда поехал в Михайловское, 14 октября снова в Петербург, в следующем году 20 октября он уехал в Малинники — имение А. Н. Вульфа в Тверской губ., с 6 декабря 1828 г. он в Москве, 5 января 1829 г. выехал снова в Малинники, оттуда 16 января в Петербург, 5 марта взял в канцелярии генерал-губернатора подорожную до Тифлиса и обратно, 9 марта выехал в Москву. 1 мая двинулся в Тифлис. Там посетил много городов, местечек. 20 сентября он в Москве, 12 октября уезжает в Малинники, 6 ноября — в Петербург, 4 марта 1830 г. опять возвращается в Малинники, 11 марта уезжает оттуда в Москву; пробыв несколько дней в мае на Полотняном заводе, возвращается в Москву; в начале июля

в Остафьеве, 16 июля уезжает в Петербург, отсюда 10 августа в Москву. В те же годы он порывался в Дерпт, в Пензу, в черниговщину, в Полтаву, в Сибирь, за границу. Свое личное настроение он приписал Евгению Онегину, начавшему «странствия без цели»:

Им овладело беспокойство,
Охота в перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).

В самом начале после возвращения из ссылки Пушкин не представлял себе тех стеснений, которые пришлось ему в дальнейшем пережить. Получив разрешение на поездку в Петербург, он писал брату 8 мая 1827 г., полагая, что может свободно располагать собой: «Завтра еду в П. Б. увидеться с дражайшими родителями, *comme on dit*¹, и устроить свои денежные дела. Из П. Б. поеду или в чужие края, т. е. в Европу, или во-свои, т. е. в Псков, но вероятнее — в Грузию». Едва вырвался из тюрьмы-Михайловского, как стал думать о встрече со своими друзьями Н. Н. Раевским, лицейским Вальховским, братом Пущина М. И. Пуциным, В. А. Мусиным-Пушкиным и другими декабристами, которые были сосланы на Кавказ и служили там в армии.

Об их местонахождении он мог знать из рассказов В. П. Зубкова, с которым вел беседы об участниках восстания: его московский друг хранил набросанные Пушкиным портреты декабристов — Пестеля, Рылеева, В. Давыдова, Юшневского. Мечта о загранице скоро была пресечена царской властью. Поэт не знал, что на его майское прошение 1826 г. о разрешении отъезда в чужие края ген.-губ. Пауллуччи в сопроводительной бумаге министру иностранных дел писал, что не следует позволять Пушкину выезда за границу. В августе 1827 г. Бенкендорф получил донос о том, что «известный Соболевский (молодой человек из московской либеральной шайки) едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за границу. Было бы жаль. Пушкина надобно беречь как дитя. Он поэт, живет воображением и его легко увлечь. Партия, к которой принадлежит Соболевский, проникнута дурным духом. Атамань — князь Вяземский и Полевой». В апреле 1828 г. Пушкин вместе с Вяземским подали заявление об определении их в действующую армию на Кавказе. «Все места заняты», —

¹ Как говорится.

был ответ шефа жандармов, вполне разделявшего мнение вел. кн. Константина Павловича, который писал ему 25 апреля: «Неужели вы думаете, что Пушкин и князь Вяземский, действительно, руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные, когда они просили позволения следовать за имп. Главной Квартирой? Нет, не было ничего подобного: они уже так заявили себя и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения с большим успехом и с большим удобством своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров». Отказ царя показал поэту трудность его положения в сложившейся обстановке.

На другой день по получении отрицательного ответа, 21 апреля 1828 г., он подал заявление Бенкендорфу, в котором писал: «Так как следующие 6 и 7 месяцев остаюсь я вероятно в бездействии, то желал бы провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне уже не удастся». Отказано было и в этой просьбе. Когда он спустя некоторое время, 7 января 1830 г., вновь обратился с просьбой о разрешении совершить путешествие либо во Францию, либо в Италию или посетить Китай вместе с посольством, то 17 января получил официальный отказ по таким мотивам: «Его величество не удостоил согласиться на его просьбу с разрешением отправиться за границу, полагая, что это очень расстроит его денежные дела и в то же время отвлечет от его занятий, что же касается желания Пушкина сопровождать посольство наше в Китай, то оно также не может быть исполнено, так как все чиновники в него уже назначены». Поэт попал в цепкие лапы самовластия. Дворцовые рабы и льстецы не хотели выпускать его из сферы, доступной их наблюдению.

Когда царю стало известно, что поэт без разрешения выехал на Кавказ, он 20 июля 1829 г. приказал: «потребовать (от Пушкина) объяснений, кто ему разрешил отправиться в Арзерум, во-первых, это за границей, а во-вторых, он забыл, что обязан предупреждать меня обо всем, что он делает, по крайней мере, касательно своих путешествий. Дойдет до того, что после первого же случая ему будет определено место жительства». Бенкендорф 14 октября, сообщая поэту о царском повелении, прочитал ему нотацию, как провинившемуся ученику: «Покорнейше прошу вас уведомить меня, по каким причинам не изволили вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны,

не предупредив меня о намерении вашем сделать сие путешествие». И еще раз, в том же оскорбительном тоне, чувствуя за собой право расправы с неугодным ему лицом, угрожающе писал поэту 17 марта 1830 г. по поводу его отъезда из Петербурга в Москву без разрешения: «Поступок сей принуждает меня вас просить об уведомлении меня, какие причины могли вас заставить изменить данному мне слову?.. Вменяю себе в обязанность вас предупредить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению». Пушкин отписывался, получая подобные циничные выговоры, то признавая свое поведение опрометчивым, то указывая шефу жандармов, что он «каждую зиму проводил в Москве, осень в деревне, никогда не испрашивая предварительного соизволения и не получая никакого замечания». Поэт чувствовал себя пленником, во власти царя и начальника III Отделения, которые то делали вид, что поэт может разъезжать из столицы в столицу без полицейского разрешения, то набрасывались на него с выговорами, указывая, что он не держит честного слова, подчеркивая свое превосходство над ним, свою милость к нему, то-и-дело нарушавшему правила установленного порядка. Одним из выходов из того тоскливого чувства, которое набегало на поэта в «неволе невских берегов», была жажда забыться, рассеяться в обществе. «Я пустился в свет, потому что бесприютен», — писал он 1 сентября 1828 г. Вяземскому.

Петербургские салоны Карамзиной, Е. М. Хитрово, ее дочери Д. Ф. Фикельмонт, президента Академии художеств А. Н. Оленина, фрейлины А. О. Россетти и др. гостеприимно были открыты для поэта. Восторженная поклонница его таланта Елизавета Михайловна Хитрово, вместе с ее дочерью, женой австрийского посланника, занимали исключительное положение в обществе по своим связям; в их салонах, по словам Вяземского, «имела верные отголоски вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая, литературная и общественная... Было тут обозрение и текущих событий, был и *premier Pétersbourg* с суждениями своими, а иногда и осуждениями, были легкий фельетон нравоописательный и живописный». Здесь (а также и в других великосветских гостиных) Пушкин накапливал материал наблюдений для картины петербургского света в VIII главе «Онегина». Е. М. Хитрово помогала поэту получать заграничные газеты, книжные новинки, запрещенные к ввозу и распространению в России. Она ему сообщала придворные вести, передавала свои беседы о нем с царем, с вел. кн. Михаилом Павловичем и т. п.

В Петербурге Пушкин встречался с А. И. Дельвигом (с октября 1828 г.). «Милый, добрый», — иначе не называл поэт своего друга. Встречался он с Грибоедовым. «Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно», — так отзывался Пушкин о Грибоедове, которого называл «замечательным, необыкновенным человеком». У Дельвига поэт встречался с композитором М. И. Глинкой. Грибоедов сообщил последнему тему грузинской песни. Слушая ее мелодию в исполнении Глинки, Пушкин написал романс «Не пой, красавица, при мне». Поэт посещал в Петербурге салон известной польской пианистки М. Шимановской, в альбом которой 1 марта 1828 года написал:

Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь мелодия...

По слухам, дошедшим до Вяземского, поэт «целое лето кружился в вихре петербургской жизни, воспевая Закревскую» (из письма А. И. Тургеневу от 15 октября 1828 г.)¹.

Памятным днем осталась лицейская годовщина 19 октября 1828 г. Собрались товарищи поэта Дельвиг, Илличевский, Яковлев, Комовский, Корф, Стевен, Тырков. Пушкин сам записал протокол собрания, приписав к своему лицейскому прозвищу П у ш к и н - ф р а н ц у з — «смесь обезьяны с тигром». Протокол закончил четверостишием:

Усердно помолившись богу,
Лицею прокричав ура,
Прощайте, братья: мне в дорогу,
А вам в постель уже пора.

Кружась в свете, поэт мечтал найти ту, которая стала бы спутником его жизни. В Москве после неудачного сватовства к С. Ф. Пушкиной наиболее близкой ему из светских девушек была Екатерина Николаевна Ушакова. На Средней Пресне в доме Ушаковых зимой 1826—27 г. и в течение 1829 г. Пушкин бывал чаще всего. В доме Ушаковых был

¹ А. Ф. Закревской, жене финляндского генерал-губернатора, славившейся эксцентрическими выходками, протестовавшей против порабощения женской личности в тогдашнем обществе своеобразной формой нарочитого нарушения официальной морали, оригинальной женщине, сочетавшей, по выражению Баратынского, образ Магдалины с русалкой, избравшей Пушкина наперсником своих «бурных страстей», поэт посвятил стихотворения: «Портрет», «Счастлив, кто избран своею нравно», «Наперсник», «Когда твои молодые лета». Пушкин называл ее «Медной Венерой» (в письме к П. А. Вяземскому от 1 сентября 1828 г.).

своего рода культ Пушкина. По словам Е. С. Телепневой, молоденькой девушки, в июне 1827 г. познакомившейся с сестрами Ушаковыми, «в их доме все напоминает о Пушкине: на столе найдете его сочинения, между нотами — «Черную шаль» и «Цыганскую песню», на фортепианах — его «Талисман» и «Копеечку» (?), в альбоме — несколько листочков картин, стихов и карикатур, а на языке беспрестанно вертится имя Пушкина». Та же Телепнева сообщала московские слухи, что Пушкин, повидимому, намерен сделать предложение Е. Н. Ушаковой, просто, что он влюблен в нее. Это общая молва... Но, уехав в Петербург, поэт увлекся там А. А. Олениной, хотя довольно иронически отзывался о ней, сватался к ней, но встретил отпор со стороны ее матери.

Как ни много времени тратил Пушкин на свои скитания, сердечные увлечения, светское времяпрепровождение, труд писательский находился в центре его жизни, умственная жизнь проходила в поглощении книг разнородного содержания, поэт продолжал учиться. В 1828 г. в течение четырех месяцев он свободно овладел английским языком. Бывая в свете, он возбуждал внимание своих собеседников, то рассказывая в 1828 г. в петербургском салоне Карамзиной замиравшим от восхищения и страха гостям фантастический рассказ в стиле Гофмана, записанный В. П. Титовым и с разрешения Пушкина напечатанный его слушателем в «Северных цветах» под заглавием «Уединенный домик на Васильевском острове», то в московском доме князей Урусовых весной 1827 г. рассказывая народные сказки: «бывало, все общество соберется вечером кругом большого круглого стола, — и Пушкин поразительно увлекательно переносит слушателей своих в фантастический мир, населенный ведьмами, домовыми, лешими, русалками и всякими созданиями русского эпоса»...

Не были записаны его беседы, но историк М. П. Погодин, не раз слушая поэта, поражался его суждениями: «Бог всем дал орехи, а ему ядра. Слушал его суждения о Батюшкове» (в декабре 1828 г.); «Думал о Пушкине. В нем действует дух. Чем дальше, тем частностей будет меньше. Не будут удивляться Пушкину, Шеллингу, но Духу, в них действующему» (1829 г.); «С лекции к Пушкину, долгий и очень занимательный разговор об русской истории, — «Как рву я на себе волосы часто, говорил он, что у меня нет классического образования, есть мысли, но на чем их поставить?»; «Презанимательный разговор о российской истории, о Наполеоне, об Александре I»; «К Пушкину... Говорили о Димитрии, потом о Франции, Польше, литературе»; «К Пуш-

кину, занимательный разговор, кто русские и не русские. — Как воспламеняется Пушкин, — и видишь восторженного»; «К Пушкину и с ним четыре битых часа в споре о Борисе. Он Procureur du Roi¹, а я адвокат. Я не могу высыпать ему ответов»... (в дневнике 1830—1831 гг.). Не приходится удивляться, что П. Я. Чаадаев перед тем, как закончить свое «Философическое письмо», решил обратиться к Пушкину с призывом начать вместе с ним перестройку общественной жизни в России, начать эпоху Реформации, насаждая «царство божие» на крепостнической почве. Пушкин остался равнодушен к воззванию пророка неокатолицизма, но самое обращение Чаадаева к нему в высшей степени показательно: колоссальная фигура Пушкина в глазах Чаадаева затмевала собой всех, только к нему считал необходимым обратиться за помощью оригинальный мыслитель, задыхавшийся в бездействии.

¹ Обвинитель царя.

Литературная
УЧЕБА

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ОРГАН СОЮЗА
СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ**

СЕДЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

2

сентябрь 1951

С